

Когда я вспоминаю Анастасию Харитонову, для меня просто — Настю (хотя мы всегда с ней были на «вы» друг к другу), взгляд мой становится более глубоким, я касаюсь чего-то сокровенного. Я до сих пор легко могу вспомнить её голос в телефонной трубке: «Здравствуйте, Олег». Она почти всегда произносила это с интонацией грусти и робости, как если бы не знала, как отнесётся человек к её звонку, будет ли рад, не мешает ли она своим звонком, не навязчива ли? Я сам испытываю схожие беспокойства, когда не вижу глаз собеседника, а слышу в трубке только голос. Но у нее это было заметно в интонации.

Познакомился я с Анастасией Романовной в 1995 году, в поэтической студии Кирилла Ковальджи, что находилась в старинном особняке на Большой Никитской. Признаюсь: все стихи, читаемые там молодыми авторами, казались мне чудовищными. Харитонova была чуть старше присутствующих, но вела себя очень скромно, замкнуто. Она была тиха. Тиха — это очень точное определение. Кажется, она как-то читала свои стихи, но на слух я плохо воспринимаю поэзию, мне мешает авторский голос, интонация — как правило, всё видится не тем, чем является на самом деле. И вот Кирилл Ковальджи позвал всех студийцев в Дом литератора в Малый зал на творческий вечер Анастасии. Я пришёл. Немного опоздал, кажется. Настя уже что-то читала (вполне возможно, что я именно в этот момент впервые услышал её стихи), но мне мешал

воспринимать содержание, как я уже сказал, её голос. Надо сказать, она читала робко, фонетически не совсем чётко. Кирилл Владимирович, сидевший рядом, дал мне в руки только что вышедшую книгу поэтессы. Называлась она «Шествие дезертиров». Первое стихотворение, попавшееся мне, взволновало меня. Оно было прекрасным:

*Долго живя на земле,
Об одном лишь тайно мечтаю:
Чтобы иметь мне домик,
Овечку и редкие книги.
Чтоб на работу дня,
На его благие страданья
Криком будил по заре
Меня петух беотийский.*

Кажется, я запомнил его сразу. Я стал читать её сборник дальше, и был всё более взволнован. Поэзия, делающая глаза влажными от выступивших слёз, невозможная вещь в девяностых годах прошлого века (не знаю, как сейчас обстоят дела). Тогда была в фаворе пустая поэтическая трескотня, пустота — но не та, которая была, скажем, в Бродском, то есть на месте Духа образовавшаяся, а пустота, подобная жестяному звуку при сотрясании тонкого листа железа, выдаваемого за природную стихию — гром. А тут читаешь вдруг вещи, подобные стихотворению «Третьяковский в немецком трактире».

Конечно, после окончания вечера я тут же подошёл к автору и выразил свой восторг. Я захотел с ней дружить. Насколько я помню, уже этим вечером я сидел в гостях в её квартире, где кроме Насти жили её мама с отцом и маленькая дочь. Так началась наша дружба. Продлилась она ровно восемь лет, до трагической гибели Анастасии. Я приходил к ней в гости раз в неделю-две. Обычно покупал

что-нибудь к чаю, который нам готовила её мама. Сидели мы почти всегда в маленькой комнате Насти, она за своим письменным столом, я — напротив, на диване. Две стены её комнаты, как раз у письменного стола, были увешаны иконами, их было так много, как если бы это была коллекция.

Как ни странно, своих стихов мы друг другу практически не читали при встрече. Зато обсуждали разных русских, в основном поэтов, от Кантемира до наших дней. У Насти интересная была манера общения. Глаза её почти всегда были прикрыты, смотрела она не на собеседника, а куда-то вбок, так что вы почти всегда видели её профиль, и лишь изредка, в какой-то момент, она поворачивала голову и бросала на вас молниеносный взгляд, и тогда я видел её чудесные глаза, содержащие в себе знание об изнанке жизни, но покрытые поверх этого знания новым томлением жизни, как бы дымкой. Её глаза не блестели, а именно были покрыты лёгкой поволокой. Кстати, не в первый раз мной проверено, что по глазам поэта можно понять, какие стихи он пишет. *«Какой-то лёгкой поволокой/ Укутан яблоневоый сад...»* Это её строки. Для меня это метафора её глаз.

Анастасия Харитоновна считала своим учителем Афанасия Фета. Однажды, ещё в ранней юности, она лежала в больнице и открыла томик Фета. И ей вдруг совершенно ясно стало, как писать собственные стихи, каков её собственный внутренний мир и голос. Этот момент в жизни каждого настоящего поэта обязательно наступает. Поэтому Фет стоял всегда отдельно в ряду других её любимых авторов. Любила она Мандельштама, недолюбливала Пастернака и считала его славу преувеличенной. Вообще мы много говорили о Серебряном веке, о 19-м веке и редко о современных поэтах. Разве что о Бродском, которого она любила, но выше него ставила Арсения Тарковского. Я не соглашался с ней, но у неё был свой внутренний мир, который я уважал.

В Анастасии была тайна, как в каждом настоящем поэте. Перед суровой обыденностью, текущей жизнью, она была незащитна. И хотя в юности она даже получала какие-то гранты и призы за свои стихи, но я её застал в тот момент жизни, когда её талант оказался никому не нужен. В поэзии были дельцы, а тут чистый поэтический голос, глубокое дыхание. Иногда наш разговор заходил в тупик из-за разных взглядов на то или иное, и тогда могло наступить молчание. Мы просто сидели напротив друг друга и молчали. Весьма тягостная пауза наступала тогда. Потом старались преодолеть отчуждение и начинали какой-нибудь разговор, чтобы вновь сблизиться. Случалось, что наша встреча могла начаться с молчания. В такие мгновения я казался себе пустым и бессодержательным, не знаю, что испытывала Настя. Я думаю, знаменитая мхатовская пауза отдыхает в сравнении с нашими паузами, которые иногда возникали.

Порой, очень редко, мы выбирались с ней вдвоём в город. Заходили посидеть в кафе или шли в книжный на Новом Арбате. Она подавала всем нищим без исключения. Однажды мы ехали в гости к поэту Максиму Лаврентьеву, и в метро и подземных переходах Настя по обыкновению подавала всем нищим, так что наше путешествие превратилось в какой-то ритуал. Мне кажется, это было каким-то принципом в ней — подавать всем.

Мне сложно вспоминать о гибели Анастасии, потому что накануне разговаривал с ней, она мне позвонила и пригласила в гости, я сказал, что постараюсь, но, может быть, не смогу, так как у меня были дела. Вечером я созвонился с Максимом Лаврентьевым, который уже год как тоже был знаком с ней, и узнал, что Настя тоже пригласила его в гости, и он собирается быть у неё. Это успокоило мою совесть, так что я решил посвятить день делам и не ходить к Насте. Но так случилось, что ни я, ни Максим больше её не увидели. На следующий день,

15-го ноября 2003 года, мне позвонил Максим Лаврентьев и трагическим, ломающимся голосом сообщил, что с нашим общим другом произошло несчастье... Настя ещё была жива, она умерла 1 декабря, спустя две недели после падения из окна своей квартиры, находящейся на четвёртом этаже...

Кажется, я не сказал о ней ничего толкового. Что-то главное всегда ускользает...